

Богумил Грабал

Рассказы из пивной

Из книги "Жизнь без смокинга"

Я сижу в "Золотом тигре", поигрываю картонной подставкой под пивную кружку и не могу наглядеться на эмблему, два черных тигра так и мелькают в моих пальцах, и я, как всегда, подсознательно загибаю углы счета, сначала один, затем второй, после третьего пива третий, а потом четвертый; порой, когда первое пиво приносит Богоуш, он извлекает из кармана белой куртки листок белой бумаги, на котором уже наперед загибает один уголок, а сижу я в компании, где ни сяду - там моя компания, это мой ритуал, и не только мой, но и всех тех, кто заходит сюда выпить пива: стол - это компания, которая ведет беседы. Это такие беседы за столом в пивной, во время которых человек, беседуя, восстанавливается после повседневных стрессовых ситуаций, или все просто так треплются, но и это тоже восстановление; быть может, когда тебе совсем скверно, лучшее лекарство - это банальный разговор о банальных делах и событиях.

Иногда я сажусь и угрюмо молчу, и вообще до первого пива я даю ясно понять, что не желаю отвечать на какие бы то ни было вопросы, так я предвкушаю это мое первое пиво. Потому я не сразу адаптируюсь к этой деспотически шумной пивной, не сразу настраиваюсь на такое количество посетителей и разных речей: каждый хочет, чтобы то, что он произносит, было услышано; каждый в этой пивной думает - то, что он как раз произносит, заслуживает исключительного внимания, оттого-то он громко выпаливает свою банальную реплику; я гляжу на этих крикунов - и после второго пива тоже считаю то, что я говорю, страшно важным и тоже выкрикиваю нечто в тщеславной уверенности, что это должен услышать не только мой стол, но и весь мир. Так я сижу, нервно поигрываю картонными подставками под пивные кружки, я набираю их штук по десять и тасую, как колоду карт, потом высыпаю их на стол, отхлебываю пиво - и тут же опять принимаюсь играть с подставками и счетом. Я на своем месте; я не один, но в разговоры окружающих не вмешиваюсь, а только слушаю. Сколько десятков тысяч бесед я таким образом провел, сколько десятков тысяч людей прошло передо мной в этих моих пивных, скольких я, должно быть, задел своим не то чтобы разговором, но диалогом, который иногда кончался самой настоящей лекцией, причем обычно не моей, а чьей-то еще, когда все мы затихали и слушали истории, излагаемые так, что они были не просто пьяной болтовней, а, как это со знанием дела назвал Эман Фrinta, рассказами из пивной. Пан Руис, виолончелист из "Квартета Дворжака", как раз закончил повествовать об их последнем концерте в Билине, хмуром и обшарпанном городке, ветшающем от непогоды и небрежения властей, по центральной площади которого слонялось без дела несколько пьяниц-цыган, но вечером в ратуше собралась прилично одетая публика, и Билина преобразилась: благодарные слушатели были тронуты. Мои соседи по столу толковали о грибах, о рыжиках; я все ждал, когда же они наконец скажут самое главное, но самого-то главного о рыжиках никто не говорил, поэтому я извинился и произнес... Рыжик, господа, - гриб мистический, он такого прекрасного рыжеватого оттенка, а зеленоватые концентрические окружности на его шляпке как раз и выражают мистический смысл этого гриба, потому что эти зеленоватые уменьшающиеся круги венчает точеный зеленый пупырышок - средоточие всех этих уменьшающихся зеленых концентрических окружностей, и эта точка посреди шляпки рыжика есть центр познания, это то же самое, на что смотрят буддийские жрецы, созерцая собственный пуп; при этом они как будто возвращаются по пуповине назад, во чрево нашей прamatери, первой женщины с гладким животом, откуда взял начало род человеческий. Все это, господа, говорю я, можно прочесть по концентрическим зеленым окружностям рыжего рыжика, которые заключают в себе главный символический смысл человеческого прошлого и настоящего... Но вы, господа, любите поесть, так я расскажу вам один рецепт, как испанские лесорубы готовят рыжики. Слой колбасы, сверху слой рыжиков, потом нарезанный перец, потом слой сала, потом помидоры, потом опять слой колбасы и рыжиков, и

так слой за слоем, а сверху опять колбаса; все это запекается на костре, а когда блюдо готово, его можно еще посыпать тертым сыром... И я выкрикивал это свое послание, чтобы, с одной стороны, меня было хоть как-то слышно, а с другой - мне казалось, что меня должно быть слышно не только в Праге, но и во всей стране, во всей Европе; потому я, бывает, и кричу как оглашенный, что думаю, будто таящееся во мне принадлежит всем... а пан Руис рассказывал, как "Квартет Дворжака" исполнял в Швеции сплошь чешскую музыку, а именно сам квартет Дворжака, который он написал, когда у него умерли дети, а под конец - "Из моей жизни"... и тут вдруг раздались рыдания и плач, все стали оборачиваться, а после концерта выяснилось, что в зале была жена одного нашего доктора, который эмигрировал, и она говорила пану Руису в гардеробе, что хочет домой, к маме, что если она не вернется, то умрет, и хотя у нее тут есть все, даже "мерседес", она хочет домой, повидать Прагу, и маму, и друзей... Пан Руис тихо сказал это, и все смолкли, так что над столом звучал лишь надтреснутый красивый голос пана Руиса, а потом разговор перешел на Стравинского, у которого на стене всегда висели портреты троих святых для него музыкантов, его патронов: Веберна, Шенберга и Берга ... А я дожидался своей минуты, когда я смогу вставить ногу в приоткрытую дверь беседы и высказать то, что, как мне неизменно кажется, должны были бы знать не только мои соседи по столу, но и вся пивная, да что там пивная - весь город, вся страна, весь мир... и когда я наконец вставил ногу в приоткрытую дверь, через которую пролетел тихий ангел, я громко произнес... Слушаю я, господа, утром венское радио, а там сообщает неизвестные подробности из жизни Веберна его зять. Когда для Австрии кончалась война и американская армия заняла Линц, в городе объявили комендантский час... и вот вечером зять Веберна, который и понятия не имел, кто такой Веберн, да и сам Веберн не знал, что он - знаменитый Веберн, так вот, этот самый зять говорит Веберну, который пришел их навестить: папа, я сберег для вас восемь сигарет, вы же заядлый курильщик, вот, возьмите, и Веберн растрогался до слез и отвечает: я так счастлив, что отдал дочь за тебя, что у меня такой хороший зять, а у моей дочери - муж, я одну сейчас же выкую, я не выдержу, а дочь с зятем и говорят ему: папа, покурите в коридоре, а то тут дети, и Веберн вышел в коридор, но потом подумал, дым потянет в комнату, где спят мои внуки; раз уж у меня такой хороший зять, я, пожалуй, покурю на балконе. И он вышел в ночь, с жадностью сунул в рот сигарету, дрожащей рукой чиркнул спичкой, но как только он в первый раз вдохнул долгожданный никотиновый дым, раздался выстрел и Веберн рухнул как подкошенный, и когда пришли его родные, они нашли мертвого Веберна; его первая затяжка стала его последним вздохом, дорого же он за нее заплатил! Какой-то солдат из патруля выстрелил, потому что было запрещено зажигать огни, и убил Веберна... Но на этом, господа, мистическая цепь событий не кончается. Этот солдат потом просто места себе не находил от того, что по ошибке застрелил Веберна, так что, вернувшись в Америку, даже угодил в лечебницу, этот Веберн ранил его настолько, что он три года провел в психушке, а на пятый год после того, как убил Веберна, он покончил с собой... А пана Марыско эта история так проняла, что он потом говорил, когда мы уже собирались домой, он говорил... Не надо было рассказывать мне это про Веберна... говорил пан Марыско, который раньше все ругался, мол, кто только этого Веберна станет играть, а пан Руис на это ответил, что лично он Веберна любит и с удовольствием его исполняет, и его поддержал пан Гампл, художник, заявив, что он ценит Веберна именно за то, что совершенно его не понимает... И вот я сидел в "Золотом тигре", разглядывал посетителей - о да, это вам не просто треп, не какая-нибудь там пьяная болтовня; эта шумная пивная - словно маленький университет, где под воздействием пива люди рассказывают друг другу истории и повествуют о событиях, которые ранят душу, а над их головами клубится табачный дым, принимающий очертания огромного вопросительного знака: ну, не абсурдна ли и не удивительна ли человеческая жизнь?.. Я молчал. Рыжик с зелеными концентрическими кругами, зеленая точка в центре рыжей шляпки рыжика, этот омфалос, пуп земли, сквозь который можно проникнуть в

самое чрево праматери Евы... и вот, погруженный в задумчивость посреди беседы, которой я не слышал, я вернулся назад, в свое детство, когда я впервые попал в пивную, которая меня так очаровала, что стала моей судьбой. Папаша, управляющий пивоваренным заводом, бывало, брал меня с собой, когда на мотоцикле фирмы "Лаурин и Клемент" объезжал кабачки, куда его завод поставлял пиво; мы ездили по городкам и весям, и я помню, что каждый такой кабачок казался мне утром и днем каким-то заброшенным, грустным, там почти не было посетителей, обычно в полумраке лишь тускло поблескивал кран, из которого наливают пиво, папаша на кухне высчитывал налоги, а я сидел в зале, где почти всегда было холодно, но пил, конечно, лимонад, один стакан за другим, тот восхитительный желтый или красный лимонад, который пенился и шипел, в полуслучае с трудом можно было различить нескольких завсегдатаев, их присутствие выдавало только то, что иногда они поднимали пивные кружки или опрокидывали рюмочку чего-нибудь покрепче, некоторые курили, поэтому в темноте иногда вспыхивала спичка - и я в этих заведениях бывал счастлив. Иногда меня звали на кухню, там обычно сидела хозяйка, и все они казались мне страшно усталыми, эти хозяйки с трудом ходили, хватаясь за мебель, а со стула вставали так, как будто страдали ревматизмом; на кухне мне наливали супа, давали гуляша, и я опять-таки пил лимонад, желтый и красный, стакан за стаканом, сколько влезет, в то время как перед папашей на столе ослепительно белели бумаги, а от его пальцев к потолку поднимался синий дым папирос - египетских, за другими он меня никогда не посыпал, папаша говорил тихим, вкрадчивым, но настойчивым голосом, хозяин молча слушал его советы, а я не понимал, о чем речь, как будто говорили не по-нашему, я знал лишь, что у хозяина всегда было что-то не в порядке, примерно как у меня в школе: папаша был строгий учитель, а я ученик, который не выполнил домашнего задания, вот так и хозяин пивной смотрел в пол, боясь встретиться взглядом с папашей, но его голос придавал хозяину смелости, внушал надежду, так что в конце концов оба, рассмеявшись, долго жали друг другу руки и глядели в глаза, папаша оставлял бумаги на столе, а хозяин всякий раз совал ему бутылочку-другую сорокаградусной; потом нас провожали, помогали завести мотоцикл, и я знал, что после нашего отъезда весь кабачок вздыхал с облегчением, ведь папаша, должно быть, потому и был управляющим, что всегда сваливался на голову хозяев с какими-нибудь неприятностями, с чем-то таким, чего они боялись... В следующей пивной я опять пил желтый и красный лимонад, стакан за стаканом, через год я уже не решался заходить на кухню, а сидел в зале, и сквозь застекленные двери до меня доносился голос папаши, говорящего что-то неприятное хозяину, который возражает, приводит какие-то доводы в свою защиту; иногда хозяин, вылетев из кухни и подбежав к стойке, наливал себе рюмочку и с бледным лицом возвращался назад, а папаша, положив руку ему на плечо, добродушно увещевал его - так, как он ласково убеждал меня лучше учиться и перестать лоботрясничать, кем, мол, я вырасту, если буду лениться? Я любил эти поездки с отцом, любил кататься с ним после уроков, а особенно в каникулы, изо дня в день мы объезжали эти папашины кабачки в Нимбуркском округе, я уже знал их наперечет, самым же большим потрясением стала для меня пивная "У города Колина" в Лысой, где была такая бесстыжая хозяйка, что папаша краснел, а она только смеялась и плевать хотела на все эти страсти с пивом и налогами. Я сидел в зале, всегда залитом солнцем, где стояли большой аспарагус и хозяйкина швейная машинка, пил красный лимонад, стакан за стаканом, а между ними - желтый, и с замиранием сердца слушал, как непристойно бранилась эта женщина, которая иногда наведывалась в зал, чтобы дать мне очередной лимонад, и всякий раз проводила рукой по моим волосам, глядя на меня своими прекрасными глазами, в которых я отражался весь. В других заведениях я обходил всю пивную, а затем зал для танцев и зал для театральных представлений и выходил в сад, где стояли столы и бильярд; особенно меня поразил кабачок, где хозяином был пан Гуго Шмолка, еврей, у сыновей которого были такие густые шевелюры и такие пышные пейсы, что они закрывали почти все лицо, а черные волосы самого пана Шмолки, на затылке коротко

подстриженные, спереди падали на лоб едва ли не до бровей, супруга же его вечно лоснилась от пота, словно ее намазали маслом или салом, даже платье на ней было как будто пропитано жиром. Вот так я полюбил кабачки и пивные, и мне было как-то не по себе, когда папаша брал меня в ресторан, где были скатерти, а то и офицант в черном фраке, здесь я чувствовал себя не в своей тарелке и предпочитал подождать папашу на улице, чтобы опять отправиться вместе с ним в деревенскую пивную... ах, эти деревенские пивные, где меня принимали чуть ли не как родного, там я бывал счастлив, в такой пивной я заглядывал во все углы, иногда даже во двор и в хлев, при некоторых кабачках - самых моих любимых - была еще и мясная лавка, где мне непременно давали колбасы. Вот это было по мне - пить лимонад, один стакан за другим, заедая его колбасой! Когда я пошел в реальное училище, я уже пил пиво. Везде, куда бы мы с папашей ни приехали, я был живой рекламой пива. Я опрокидывал кружку за кружкой и вслух нахваливал их содержимое, мол, какой это отличный и вкусный напиток; и я говорил это так убедительно и пил с таким удовольствием, что мне не переставали удивляться как хозяева, так и завсегдатаи пивных. И я объезжал все те же кабачки, пил там одну кружку пива за другой - а отец своим тихим голосом решал с хозяином все те же проблемы с завозом пива и налогами, и всякий раз что-то было не так, я же сидел в зале и после третьей кружки пускался в разговоры с посетителями. Больше всего я любил ездить с отцом в Колин, в кабачок Водварки; здесь уже с утра шло веселье, а пан Водварка был человек открытый и никогда не терял хорошего расположения духа, и папаша не мог его ни в чем упрекнуть, потому что пан Водварка был просто молодец и таким навсегда остался в моей памяти. Когда он появлялся в Нимбурке, отец приходил в ужас, что опять надо будет ехать с ним в Прагу, для меня же это было настоящее событие; каждые три месяца мы наведывались в Прагу, а точнее сказать, в тамошний кабачок "У Шмельгаузов", причем в первый раз пан Водварка, едва войдя в зал, прилепил скрипачу на лоб сотенную бумажку, и с тех пор, стоило нам показаться на пороге, музыканты принимались играть для нас песню "Колин, Колин...". А потом мы кутили, папаша то и дело напоминал, что пора отправляться домой, но пан Водварка лихо отплясывал и пел, расточал улыбки и сыпал остротами, и я тоже кутил и чем больше пил, тем охотнее обнимался со всяkim, кто подходил пожать руку пану Водварке; так мы веселились до самого закрытия, и на отца жалко было смотреть, ведь он не мог так много пить, потому что вез нас назад на мотоцикле, а позже он купил "шкоду". Папаша цепенел, недоумевая, куда это он попал, ибо пан Водварка, приезжая сюда раз в три месяца, всегда обещал, что они вначале покончат со всеми делами, а потом только на минутку заглянут к Шмельгаузам... а в итоге нас с музыкой провожали к выходу и даже на улицу, на обратном же пути, уже на рассвете, пан Водварка поднимал с постели трактирщика в Негвиздах, и мы опять пили там пиво и кофе, и пан Водварка требовал разбудить музыкантов, которые потом для нас играли, а еще пан Водварка будил местного лавочника и, скупив у него весь запас шоколада, угождал женщин, которых он созывал, так как до этого он стучался в окна каждого дома и приглашал добрых людей повеселиться, и все пели и плясали, а отец сидел и смотрел на часы, переживая, что ему через каких-нибудь два часа нужно быть в бухгалтерии пивного завода... Ах, эта вереница кабачков моих детских и юношеских лет, а позже мои пивные в Нимбурке, куда я ходил по субботам и воскресеньям утром и вечером играть на бильярде, и мой трактир "Под мостом у Поспишилов", где я играл на пианино и резался в карты с ребятами из Залабья, с которыми мы были друзья не разлей вода, с простыми парнями из зареченских домишек, а потом мои пивные и кабачки тех времен, когда я колесил по Чехии, служа страховым агентом, а затем ресторанчики, в которых я завтракал, обедал и ужинал, когда ездил коммивояжером, продавая галантерейные товары фирмы "Гарри Карел Клофанда", а ночевал при этом в обычных гостиницах, и, наконец, моя Прага, где я каждый день ходил в кабачки в Либени, на Жижкове и на Высочанах, на Малой Стране и в Старом Месте. Почитай четверть века я обедал в этих моих кабачках и крайне редко, скорее по недоразумению, попадал в приличный ресторан

или гостиницу; их я посещать не любил и даже робел там, приходя в себя, только когда оказывался на улице и мог завернуть в первую попавшуюся пивную: тут мне было хорошо, тут были все свои - свои официанты, свой хозяин, здесь я был среди друзей, дома, в кругу семьи...

И вот я сижу в "Золотом тигре", пройдя обратный путь по моим кабачкам и выяснив для себя, что все это началось с отца, когда я ездил с ним и пил стакан за стаканом лимонад, пока отец проверял счета и вычислял налоги несчастных владельцев пивных, у которых всегда было что-то не в порядке. Я сижу в "Золотом тигре" и улыбаюсь; все это время я никого не слышал, как будто сидел где-нибудь в тихом лесу, потому что я мысленно прогулялся по кабачкам моей жизни вплоть до самого первого в деревне под Нимбурком. Между тем пан Руис, которого я теперь уже слышу, рассказывал... Прилетели мы, значит, в Копенгаген, а там нас встретили на двух машинах, тогда мы, "Квартет Дворжака", в первый раз приняли приглашение, не зная, от кого оно исходит и кто нам так по-королевски щедро заплатил. Пока мы ехали на тех машинах, стемнело, двое встречающих, по одному на машину, одетые в черные рединготы, сохраняли невозмутимое спокойствие, и вот мы, оставив позади Копенгаген, подъехали к большому зданию, перед нами распахнулись ворота, поднялась решетка, и мы оказались во дворе, где по зарешеченным окнам поняли, что находимся в тюрьме. Потом нас принял начальник этого заведения, и для нас был накрыт шведский стол - даже с вином, а когда пришло время, нас отвели в тюремную часовню, где уже собрались заключенные, и мы, настроив инструменты, заиграли... вначале опять-таки quartet Dvorzhaka, а после - "Из моей жизни"; мы играли в полной тишине, сознавая, что такой публики у нас еще никогда не было. Когда мы закончили, аплодисментов не последовало, все остались сидеть на своих местах, потрясенные до глубины души; мы поднялись и принялись кланяться, собираясь уходить, но заключенные по-прежнему сидели, подпирая руками подбородок или пряча лицо в ладонях... это была лучшая публика в нашей жизни, почти как год назад в Оксфорде, где все мужчины в зале были во фраках, тогда мы тоже раскланялись и направились за кулисы, но прежде чем уйти, еще обернулись - а слушатели продолжали стоять, потрясенные почти так же, как эти заключенные в Копенгагене, для которых мы исполняли то же самое: quartet Dvorzhaka, написанный им после смерти его детей, "Из моей жизни" Сметаны и quartet Janczaka. Вот такой был у нас репертуар, и эта музыка так захватывала и захватывает, что и в Оксфорде, и в копенгагенской тюрьме публика не посмела нарушить свое мистическое слияние с музыкой ни единным хлопком. Господа, что же это такое - музыка, чем она берет за душу? Да, в сущности, ничем... а стало быть, всем... Так сказал пан Руис, и все мы были настолько взволнованы, что поспешили спрятать наши лица за кружками пенистого пива.